

Александр ШАРЫПОВ
(1959–1997)

Александр Иннокентьевич Шарыпов родился 24 ноября 1959 года в Великом Устюге Вологодской области. Окончил Владимирский политехнический институт. После службы в армии жил в г. Радужный и работал в научно-исследовательском лазерном центре. Печатался в различных журналах и газетах в России и за рубежом. Лауреат литературной премии им. Н. Лескова и премии международного фонда «Демократия». Награжден Пушкинской стипендией Гамбургского фонда Альфреда Тенфера. Умер 22 декабря 1997 года. В 2001 году во владимирском издательстве «Фолиант» издана посмертная книга его избранных произведений «Убийство Коха». Наиболее полное собрание прозы А. Шарыпова – книга «Клопы» – увидела свет в 2010 году в издательстве «КоЛибри».

«ПИШЕМ ОПЕРУ» и др.

Публикация, подготовка текста Владимира Орлова (1964–2021)

От редакции:

Большую часть нынешней публикации Александра Шарыпова (третьей по счету в «Волге»¹) составляет цикл «Пишем оперу» – три эссе, посвященные участникам группы «Два двенадцать»²: Анатолию Гаврилову, Владимиру Пучкову, Леониду Швабу, плюс три коротких рассказа.

Предполагалось, что Владимир Орлов напишет к настоящей публикации предисловие и комментарии, но внезапная его смерть (в ночь с 5 на 6 декабря) планы эти, увы, скорректировала.

Работа над публикацией прервалась в конце ноября. Последнее письмо Владимира Орлова – от 28 ноября, 17.17: «...я посмотрел набранное с точки зрения опечаток и немного поправил (выделено желтым). Особенно важно исправить в названии (оно и в тексте встречается) про Гаврилова – “Давойка мала” (В наборе было ошибочно: Двойка. – **Прим. ред.**) – это не совсем точное воспроизведение югославской песни 1960 года, переводится как “Маленькая девочка”. По крайней мере, я так понимаю. Можно, если что, сделать сноску. Постараюсь вычитать также текст про Шваба и Владимира Ильича Ленского: вдруг и там были неточности? Что касается порядка, то сначала вступление и три текста про приятелей в том же виде, как на фото: сначала Гаврилов, потом Пучков и Шваб. Затем я бы дал Ленского, и в конце (если считаешь нужным) – Дядю Сашу и два маленьких текста».

Еще фрагмент письма, от 26 ноября: «...я посмотрел про Пучкова – второй, длинный, вариант лучше (В машинописи было два варианта текста про Пучкова. – **Прим. ред.**) А перед этими тремя текстами (Давойка мала, Черный ворон и Кто ты? Тебя я не знаю) дать то, что в самом начале – от “Содержание первой...” до “Господи,

¹ <https://magazines.gorky.media/volga/2020/7/ohlomony-i-anahorety.html>

² С сайта Владимирской областной библиотеки: «В конце 1988 года, в самый разгар Перестройки, несколько владимирских прозаиков и поэтов создали первую в областном центре неформальную литературную группу. А поскольку это событие случилось 2 декабря, то и группа получила название “Два двенадцать”. И вошли в неё: Анатолий Гаврилов, Алексей Добрынин, Вадим Забабашкин, Дмитрий Кантов, Владимир Пучков, Андрей Филинов, Александр Шарыпов и Леонид Шваб» (<https://library.vladimir.ru/meropriyatij/2-dekabrya-devyataya-gostinaya-proekta-vechernij-albom-dva-dvenadcat-tridcat-let-spustya.html>).

Владимир Орлов отмечал: «...название отсылает не только к дате создания группы – 2 декабря 1988, но и к строчкам из песни Высоцкого». <https://magazines.gorky.media/volga/2020/7/ohlomony-i-anahorety.html>

благослови”. Тогда и мое какое-то вступление (или комментарий) сочинится – про журнал “Два двенадцать” и его авторов».

Были и другие, многие поправки, все они здесь учтены.

Таким образом, состав и порядок настоящей публикации таков, каким он виделся Владимиру Орлову. Исключение составило эссе «Владимир Ильич Ленский как зеркало русской революции»³.

Публикуемые ниже тексты Александра Шарыпова набирались к печати по фотографиям с машинописи, хранящейся в архиве В.Л. Забабашкина.

ПИШЕМ ОПЕРУ

Содержание первой, основной части этого журнала отбиралось таким образом, чтобы читатель видел лица авторов его более или менее четко и, так сказать, в фас.

Произведения, в который авторы поворачиваются другим боком, подмигивают в объектив, уходят от фокуса и так далее, вошли во вторую часть.

Авторы здесь с трудом узнают друг друга. Здесь хулиганы выступают как почтенные граждане, а почтенные граждане – как малые дети. Здесь поэты склоняются к суровой прозе. Здесь прозаики исследуют окружающий литературный мир доступными средствами. И так далее. Одним словом – приложение.

Может быть, когда-нибудь здесь появятся свои рубрики; но пока решено обойтись без них.

Нижеследующее произведение, возможно, подпало бы под рубрику «Литературные портреты». Но разве это портрет? Так, штрихи отдельные. Несколько теплых слов. Как хотелось бы сказать больше! Все стесняемся. А пора бы уже понять: сами о себе не напишем – никто не напишет.

Господи, благослови.

Давойка мала

При одном имени сего любезного человека все раны моего сердца растрavляются, – как говаривал К.Н. Батюшков. – Перу недостает искусства выразить все чувства мои.

Будь я поэт, мне помогла бы рифма: любовь – морковь; две придут сами, третью приведут... Зачем я не поэт?

Толя!.. О Господи. Неужели тебе вправду перевалило за полвека?

Как Вас теперь называть?

Anatoly? – как выговаривала фрау Хильмер, приходящая подобно памятнику на ум мой всякий раз, когда я вспоминаю про обычай толкать мешки с мукой, сообщая им о несчастьи с хозяином, как это принято в Германии.

Или – как это произнес хранитель Пушкинского музея, почтительно подойдя во дворике Дома журналистов... Не помню (сзади сидел еще бронзовый памятник и записывал...)

Или как у Толстого: «Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не видела, не слышала, и не понимала ничего из того, что делалось перед нею; она только чувствовала себя вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел...»⁴ Анатолий?

³ В процессе подготовки выяснилось: опубликовано в журнале «Соло», 1993, № 10. https://imwerden.de/pdf/solo_10_1993_ocr.pdf

⁴ Здесь и далее цитаты приводятся в авторской редакции.

«Ана»: вос-, вновь, подобно-; анализ, анамнез, аналогия, – «пост» в постмодернизме («Иностранная литература», 1/1994).

«Голь»: кровельный картон, пропитанный дегтевыми продуктами и посыпанный мелким песком, употребляется для изоляции от влаги. Для изоляции от провинциальной плесени.

Эх... Как говаривал Батюшков: «Тысячи воспоминаний теснят мое сердце...»

Гаврилов, срывающийся с зажженной спичкой на другой конец стола, где женщина еще только достает сигарету из пачки.

Гаврилов в бессознательном состоянии, пытающийся словить губами мелькавшую перед его глазами белую руку Анжеллы, рассказывающей что-то за столом.

Гаврилов, со словами: «Давойка мала...» уходящий в ночную тьму, когда товарищи его ловят такси и падает снег...

Гаврилов, танцующий жигу под затертую пластинку Азнавура «Pour fair une jam».

Гаврилов в борьбе со стихиями...

Умиротворенный, обессиленный после огорода, он мерно покачивается в кресле автобуса. Рука его обнимает занавеску, висок уперся в стекло... Что напоминает ему это мерное покачивание? Первые лета юности, родину? Все, что ни есть сладкого для сердца нежного и доброго? Когда он уже почти засыпает, занавеска выскользывает из рук и хлопает его по лицу. Вся последующая дорога проходит в борьбе с занавеской. Он завязывает ее узлом – узел развязывается; запихивает за сетку над головой – занавеска сваливается ему на лоб всякий раз, когда он хочет уснуть. «Сколько терпения, – думаю я. – Какое упорство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком!»

– Пусть тут я проиграю, – отвечает он на призыв не сдаваться, – но все равно, когда-нибудь, я выиграю в чем-то главном!

«Дверь вдруг открылась, к дивану стремительно подошла женщина в простыне и стала грубо и нервно срывать с Суровцева одежду, он попытался что-то сказать, но попытка его была придушена таким глубоким и долгим поцелуем, что он едва не задохнулся.

Безропотно отдался он во власть нервных, дрожащих и необычайно сильных рук, ног, губ...

“Я... сирота...” – попытался он снова что-то сказать в короткой паузе, и снова его монолог был придушен впившимися губами...

Женщина, не давая опомниться, властвовала до рассвета.

Утром она исчезла, и Суровцев разрыдался». («Элегия»)

Настоящий писатель, по-моему, – тот, кто (помимо всего прочего) способен плакать.

«Лев Семеныч! Будь мужчиной – не отлынивай от слез», – воззвал Кибиров к Рубинштейну, знаменуя начало нового сентиментализма. Вечерний Гаврилов относится, несомненно, к этому течению в литературе.

Постмодернизм начинается у него рано поутру: он относится к тому счастливому типу людей, у кого анамнез «вчерашнего» отсутствует почти полностью.

«Со мной случилось нынче что-то новое, необыкновенное, не знаю, хорошее или дурное, должно быть хорошее: ... случилось то, что я проснулся с небольшой головной болью и как-то странно забыв все: который час? Что я пишу? Куда идти?... забыл молиться. Все забыл. Удивительно! Сейчас читаю свое письмо Анатолию Федоровичу и не могу вспомнить, кто это» (Л.Н. Толстой. Дневники. 12. 5. 1908).

Постмодернизм (М. Эпштейн, «Знамя», 3/1996) «устремился к прошлому, но при этом стал присваивать ему атрибуты будущего: неопределенность, непостижимость, многозначность...»

– Эх, ветеран, ветеран... Когда ты возьмешься за ум? – Гаврилов, бредущий по заснеженному полю на рассвете; ветер в лицо, – значит, так, – тихо в конце пути. – Что я хотел? А, ничего не надо...

Впрочем, почему ж неопределенность?

Гаврилов Анатолий Николаевич, – не начиная с Лединых яиц, как говаривал К.Н. Батюшков, – зачат был в Германии в мае 45-го остарбайтерами (об этом он сам признавался мне, когда мы прогуливались по коридорам гестапо) – и рожден в греческой колонии Мариуполь в день траура по Ленину, 26-го января 1946-го (т.е. там же, где родился ахматовский сирота Д.В. Бобышев за 10 лет до того). Образование получил в основном в армии, в каптерке у композитора Беринского (он же Вегерт, он же Войцеховский) – где сидел с вывихнутыми пальцами после игры в футбол – в то время, когда Беринский представлял из себя, по выражению босого писателя, «сапоги с носом».

– Мне нравятся художники, изображающие тело женщины – такие, как Рубен, – желая блеснуть эрудицией, говорил Гаврилов.

– С! – поднимал палец Беринский.

– Что «с»?

– Рубен-с.

Впрочем, закончил он и литературный институт, но при оглашении сего факта обижается, подозревая оглашающего в сарказме.

В Иллинойском университете по его книге изучают русский язык.

Студенты университета им. Гумбольдта выражали ему свое одобрение постукиванием по пюпитрам.

Бондаревско-забавашкинский союз писателей отказал ему в приеме «за неуважение к русскому народу».

Да, есть в нем что-то от немца. Настольные книги: «Доктор Фаустус», «Игра в бисер» – т.е. все то, от чего у людей (вроде меня), воспитанных на французских романах, происходит в голове такой шум, будто лопаются сосуды, перестраивающиеся в перпендикулярном направлении.

В рассказах: курбель, форвертс...

Впрочем...

Октябрь 1995-го. Дом фрау Хильмер, Иоахим-Фридрихштрассе, Берлин.

– Надо мне, – я говорю, кугельшрайбер купить.

Он:

– А что такое кугельшрайбер?

– ??.. Ну, ты даешь! У тебя в каждом рассказе – курбель, дрекель, штрекель; а что такое кугельшрайбер, не знаешь!

Он – тихо, после паузы:

– Давно п... не получал?

Дала ему что-то и «ненько Украина» – вне сомнения...

Очи Гаврилова.

Чи в вас улита якась отрута,

Чи, може, справді ви знахарі...

А ПЛЯСКИ его – не половецкие ли? Академик Лихачев пишет, что в районе поселка Шлаковый были зимние кочевья половцев...

Есть в нем что-то и от греков. «Мышление у меня тромбозное, – говорит он. – Я и пишу короткими фразами – потому что в длинных путаюсь и приходится рубить их на куски». Тяжесть процесса явственно представляется мне при виде жил, вздувшихся на его руках... – Да, но как же тромбозное? Как же в таком случае «удается создать полнокровную жизнь», как написано в аннотации к сборнику? Не так ли, как Эмпедокл учил, что «мысль есть омывающая сердце кровь»?

И есть в нем что-то сиротское. Семья советских народов его не принимает.

Весть о ГКЧП принял с облегчением: «Теперь писать не надо – все равно не напечатают...»

Лето 1991-го. Объединение «Союзпромонтаж». Трибуна с гербом. Гаврилов читает «Б и У». Гробовое молчание. Он читает: «Но где же розы?». Вопрос из зала: «И это все?» Он читает «Розу». Молчание. «Можно и накостылять за такие анекдоты», – говорит угрюмый рабочий. (На афише почему-то значилось: «Анекдоты, гитара, конференс».) «Вы лучше своими словами расскажите», – предлагает сердобольная монтажница. Гаврилов начинает еще что-то – и не заканчивает, ибо народ идет мимо.

– Не уходите! – останавливает их Гаврилов. – Сейчас мы вам споем, – и запекает с трибуны:

Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги...

Почему-то вспомнился дирижер Софроницкий, уходивший за кулисы, когда за его спиной падал чей-то номерок.

А может, снять сериал по его книге – какой-нибудь «Просто Мариуполь», серий этак 400 – а по сериалу опять написать книгу – и тогда они все поймут?

«Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. “Вот, *чуть-чуть* тронули, и все изменилось”, – сказал один из учеников. “Искусство начинается там, где начинается *чуть-чуть*”, – сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства» (Л.Н. Толстой).

Ну что ж. – «Мне бы хоть черточку! Хоть бы самую махонькую черточку, только одну, но только такую, чтоб уж этак руками можно взять было, чтоб уж вещь была, а не то что одну эту психологию», – говаривал также и Порфирий Петрович...

Дорогой Гаврилов, режущий на кухне сало.
– По чуть-чуть? – спрашивает он, наклоня бутылку к рюмке.
И сердце оттаивает у меня...

Черный ворон

Всякий, кому случалось проходить в темное время суток по улице Чернышевского позади кинотеатра «Факел», чувствовал: тут что-то не то. Не по себе как-то: мир оседает, и что-то вьется, и в то же время тяжесть какая-то... Деревья, как небесные раки... То бишь не раки – реки во мраке; но все равно...

«Подъезжаю ночью к Владимиру, – рассказывал наш современник Распутин, – тихо, темно, ни огня... И на весь город одно окошко светится. Господи, думаю, что же за душа там бессонная, что за беда там у ней струсилась? И защемит сердце, защемит...»

Там что-то вершится, незримое глазу,
Там с ангелом борется новый атлет!

«Володя! – писал Б. Черных, – тебя окружили евреи...»

«Никак не могу я уяснить себе, что у тебя беда и голова моя идет кругом», – писал Л. Шваб.

В окне, где сырыми краями угла
Стекала по капле стекольная мгла,
Склоняя к ознобу...

Однако, выйдя уже к «Новинке», прохожий останавливается и недоуменно пожимает плечами: что за беда? И атлет этот совсем не новый – а еще в 1989 году собрание сочинений его вышло тиражом аж 8 экземпляров...

Его портрет висит, например, в моем доме. Висит – и висит... Но бывает, в чаду, в кутерьме, посреди чудовищной пьянки, взгляд его останавливает и пронзает меня, как писал Абрам Терц, «до кости мозгов»: «Что ж ты делаешь, подлец?» – и я возвращаюсь за стол, протрезвев и посуровев, и товарищи мои глядят на меня и не могут понять причину столь внезапной перемены. Одна поэтесса, насмотревшись на этот портрет, сказала: «Стыдно!.. Ах, как стыдно...» Нет, беда...

Беда в том, что есть у этого человека – как бы это сказать? – другое лицо. «Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, – писал Абрам Терц, – трудность заключается в том, что он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного»...

Доступность – и непроницаемость. Нечто, располагающее к панибратству – в соединении с замурованностью. Кажется, что он был всегда, что он вышел из пожелтевших, потрепанных книг конца прошлого – из Федора Тютчева, Федора Сологуба, Федора Карамазова, из дождливой темноты Скотопригоньевска и Чермашни, забыв переменить котелок и зонт. И в то же время кажется, что его нет и не было никогда, что его выдумали сочинители анекдотов.

Пучков Владимир Павлович... Родился в 1951 году и так с тех пор и живет (будто бы) во Владимире...

С отличием закончил Литературный институт, но за дипломом в Москву не явился...

Служил в войсках противоракетной обороны; однако выясняется, что и войск таких вовсе нет...

Шкляревский с Золотусским ждали его на вокзале, чтобы принять в Союз писателей – он не приехал...

Нет, прогулки с Пучковым, в отличие от его пращура по перу, не получится. Встречу с ним назначать надо в тепле: по крайней мере, не умрешь от переохлаждения.

Можно, однако, прийти на ул. Чернышевского днем. Постоять у калитки в сомнениях. Витает; но другое:

Окна не загораживай, не стой
В дверном проеме смутным силуэтом...

Распахнуть дверь в его дом, – увернувшись от цербера, с истошным лаем бросившегося навстречу и удержанного в последний момент Валентиной (лат. Valentina – сила), спросить хозяина – обрадованный хозяин выскочит навстречу – сказать что-нибудь вроде: «Черных звонил: ты обещал стихи в “Очарованный странник”?» – «Да. Сейчас», – скажет он; деловито поставит чайник, прижмет чуть ли не к печке каретку сломанной машинки; может быть, после неоднократных напоминаний, даже еще вставит в нее лист; закурит и – ...

И, откуда ни возьмись, полетит из его уст нечто такое римско-варенуховское – какой-то нескончаемый лиходеевский эпос, настолько не вяжущийся с его стихами, что сидишь и думаешь: да Мастер ли это? Не Фагот ли?

Фантаст Альфред Бекстер, чтоб щупачи не прощупали сокровенные мысли, учит вертеть в мозгу для шума и помехи назойливую песнь. Вот и тут что-то вертится и генерирует шум – что-то о Швабе («Если бы не Леня Шваб, не было на брюхе шва б»), о каком-то Льве, о Льве Прыгунове («Прыгунов-с-шестом», – уточняет хозяин), о воздушном шаре и мочевом пузыре, о чае и расписных самоварах («Это что! А вот у моего

соседа есть самовар в наколках»), о том, куда все деньги уходят (закуривая новую сигарету) – а так хочется съесть чего-нибудь, например – гуся!

– У тебя же сад есть, – говорит гость, с трудом удерживая нить, – взял бы да посадил на грядках...

– Посадил я как-то окурки, – мгновенно реагирует хозяин, – знаешь, выросли! Длинные такие; жалко, без фильтра...

От фильтра – к ментолу; к женщинам; к губной помаде:

– Она красит губы, – замирая с бутылкой сидра, – она красит половые губы!

Тут уже не выдерживает Валентина:

– Женатый человек, – восклицает она, разгибаясь с тряпкой в руке, – а говорит такую ерунду!

«Этот старый человек, – сказал о нем Лев Толстой, – дошедший опытом своей жизни до убеждения в том, что мысли и слова не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные – первые, которые приходили в голову».

Одурев от чаю и дыма и вспомнив, что «великий звук просторен, словно сени», распаренный как кадка гость идет в сени; следом хозяин, объясняя, что такое Антиноева сила святая и зачем собака шаркает ногами после того, как сходит по нужде; но и сени оказываются 2 х 2 (тесны, тесны приюты певцов владимирских!) – дальше, дальше, «там, на улице, у входа, подстерегает всех свобода» – туда, туда, в сад!

Холодок в саду...

И лист, отрываясь, встает на ребро –

Кружиться ему до упада,

А в воздухе тонко блестит серебро...

Для взгляда нужен холод и простор...

Атлет выходит с сигаретой на крыльцо, отводя взгляд...

Щекочущая аура листвы...

В продолговатом коконе гуденья

Пчела плывет, вытягивая в пенье

Свой золотой, мохнатый хоботок,

С цветка перелетая на цветок.

Она поет, сама себя не слышит,

Ее полет тяжелой негой дышит...

Но что же, однако, мешает расслабиться окончательно?

Какая-то, черт ее дери, неподвижность. Излишняя – не то симметрия, не то асимметрия... Деревья стоят, как небесные раки... Да, бишь, не раки! Как железный инвентарь. Но все равно... Взгляд падает на железную тачку с прикованной к рукоятке цепью.

А в воздухе тонко блестит серебро,

И кто-то глядит, улыбаясь хитро...

Он же и глядит с крыльца. О, я знаю эту улыбку – так улыбаются помощники президента, все те, кто нами властвует заочно...

А где обещанная свобода? Река – стальная. Кольца воды – железные. Голос атлета – бронзовый. Пустота – и та гранитная! Сад предстает глазам решеткой углерода. И цепкий

голод паутиной ткани... И нет совсем людей! То есть вообще, во всем этом мире – ни одного человека!

Вот там, на дне, где дно небесной посуды прогнулось под тяжестью – что там такое? Затвердевшие грома? Камни на дне? Холмы? Волхвы? Так вот она, свобода – толпа окаменевших тел!

Щекочущая аура листвы.
Среди ее прозрачных обещаний
Слепое тело каменной совы
Как древний слух, растет из темноты...

Да, да, помню – у Филинова, 8, 8, 88, у черного пианино, невинный разговор:
– А что это у вашей газеты тираж не указан?
– Где? Наверное, планка отлетела...
И атлет, улыбаясь, тихо, отводя глаза:
– Вот так когда-нибудь отлетит планка – и начнется террор...
В наступившей тишине один Филинов, сглотнув, севшим голосом нашелся сказать:
– Старик, ты не прав...
Вот он стоит на крыльце, улыбаясь, окидывает взглядом хозяйство...

Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилась разная тварь,
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится горбатый главарь, –

И вот не надо бы об этом, нехорошо, но раз уж возникла такая мысль – все рано отвечать за нее придется, – и ведь было! – корчась, как пламя в кустах низкорослый, проскрежетал же Ильин:

– Все глумитесь, Владимир Лазаревич?
Тот самый Ильин, про которого:

Вот так – обиженно и гордо –
Уйдет Ильин – он мог быть лордам! –
Уйдет, и плохо без газет, –

писала О. Ручко – та самая, которая еще писала:

А кто – Пучков.
И так рифмуется со мною,
Хоть он пижон, и без очков.

Пижон, пижон! – Да, но вот, значит, было же время, приходил же он? Да и не он ли бегал кросс в любую погоду? Играл в «Днепре»? Не про них ли сказал В. Маслаченко: «Краковский что-то говорит Пучкову: он недоволен. Пучков разводит руками» – ? Да я и сам помню, как он приходил – в салон. Литературный салон во Владимире! – можете вы себе это представить? Чего только не вспомнишь! Салон Бычковой! Он еще сказал, выйдя: «Онанизм какой-то...»

А у Рычкова в театре... Стоп! Стиль дурен, когда сочинитель повинуется лишь связи слов, а не порядку и движению мыслей.

Однако ж – что такое сама фамилия его? Что-то римское... Пучок прутьев с топором посередине, fascis по-латински...

– Wie bitte? – переспрашивают немцы. – Putsch... Putsch... koff?

Нет, тут не связь слов, любезный Владимир Лазаревич! Тут дело фантастическое, современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое! Не вы ли 20 лет назад, отведя его в дальний конец коридора, трясли пальцем перед его лицом: «Никогда не приноси больше таких стихов в студию!» Яблоко у него, видите ли, в кармане царит... Да это ж террорист, хуже Ивана Помидорова!

В саду костенеет засохший терновник.
Срубить бы и баста! Но дрогнет рука –
Он детских соблазнов невольный виновник,
Опора для взора, прозор в облака.

Это еще вчера, а сегодня:

И холодок в саду, как на столе порядок,
(новый, новый порядок!)
Он словно на беду, на откровенья падок,
И вот рядами числ сверкает сад, раздет,
Как обнаженный смысл, и в нем опоры нет!

Не дрогнула рука, стало быть!

Это он еще туда прорубился, к себе в сад, – а ведь он, того гляди, перешагнет, буквально, через плаху порога и прорубится сюда, к нам!

Но что же это за стихи были такие крамольные? Вот и кажется мне, что не хватает тут какого-то самого первого, медузно-головного стихотворения, объясняющего все последующее окаменение! Про что оно было?

Полураспада пряный аромат... На листьях кристаллический осадок... Про третью мировую, что ли?

Я не был в бою,
А их было столько!
Но в память мою
Вонзились осколки...

Да, да, именно осколки...

И дышит за листвой
Прохлада острыми, как жало, языками...

Острыми языками дышит! Только топор у Пучкова еще острее: по прохладе, по этому язычеству природы – так! И вот уже:

Холод раздвоен, как жало у змеи...

По гранитной пустоте, по каменному небу –

Сад, ледяными кусками наколотый крупно...

Звездное небо с отколотым краем...

И каждое слово сверкает краями,
Как небо ночное краями раскола...

Дыханье крошится...

Дымящийся костер дробится...

Повсюду крошатся просветы...

Воздух морозный проламывается внутрь...
Колкие звуки срываются прямо в рай...

Оттуда выйдет ночь. Ее продольный срез
Напоминает мне структуру минерала.
Я пыль рукою стер, и верхний слой исчез,
И каменная жизнь расколом засверкала.

Это что? Да ведь он прорубился уже? Вот уж печатают его «Стропила», а за ними «Октябрь», «Звезда» и «Новая юность»! Вот он уже идет, Барбаросса с улицы Чернышевского – как Шваб напророчил:

Фридрих идет, как Бетховен,
Рукою власы шевелит,
Он наш, он шутив и греховен,
Он смертен и даровит, –

Вот уже И. Шкляревский, со вздыбленными волосами, еле дошел до трибуны в Ярославле:

Где причмокивала грязь
И прокручивали шины,
Ходит ворон, черный князь,
По комкам замерзшей глины,

Воду мертвую клюет,
Ничего не понимая,
А над ним зима поет –
Страшно, как глухонемая, –

– у меня, говорит, волосы дыбом встали!

Полноте, махнет рукой критик, что тут такого – пожалел поэт птицу, никак она добычи не дожидается... – А зима? Сама себя не слышит? А та, что всех огромней и страшней? Сова каменная? –

Уже раскрыла огненное зреньё,
И за добычей...

А все эти, которые спят на дне? Музыка, оглохший Бетховен писал, высекает огонь из человеческих сердец. – А что, если вся эта толпа окаменевших тел засверкает, забьется под тонкою тканью – да как запоет?!

Тут уж палец не поможет – трясина, не трясина – ведь что она запоет? Вы думаете – романсы? – «Нет, никогда скалистый этот гул» на мотив «Нет, не тебя так пылко я люблю»? – Ошибаетесь! Вот где вы ошибаетесь! Кого люблю? У него же во всем мире нет ни одной женщины! Да ведь это было уже – вспомните, ходил же народ, размахивал транспарантами:

«Народ и партия едины,
Как два конца одной дубины», –

Всю страну развалили; а ведь это его, Черного ворона, стихи! А чем кончится? И это уже мы предсказывали – пели уже; в зарубленной Рычковым пьесе «Охломоны и анахореты»:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

И лист, отрываясь, встает на ребро,
Кружиться ему до упада,
А Ленин глядит, улыбаясь хитро,
Сквозь ломкую логику сада.

Он знает, куда паутина летит,
И видит, в какие провалы
Спускается лист, где терпенье скрипит
И красные дышат мангалы.

Он смотрит туда, где за дальней чертой
Гуртом собираются тучи,
И воздух, в цветное стекло налитой
Становится злее и круче.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами.
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.

Но пал произвол, и восстал весь народ,
Великий, могучий, свободный...
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.

Кто ты? Тебя я не знаю

Да мне, этого собственно, и не нужно (пишет он в письме), мне кажется, что чувство родства может и не включать понимания. Это самое родство настолько тонкая материя и, я думаю, нет ничего важнее на свете, чем родство, близость или как там это называется. И пишем мы, может, затем, чтобы породниться с кем-то, кого и на свете, может быть, нет. Не знаю.

Он говорит (объясняет Сэлинджер), что единственные люди, с которыми ему хотелось бы пойти выпить, или на том свете, или у черта на куличках.

Но почему мне кажется, что он чуточку пьян? По-моему, именно таким кажется человек, которого ты очень любишь, а он вдруг входит к тебе на террасу, расплываясь в широкой-широкой улыбке, после трех труднейших теннисных сетов, выигранных сетов, и спрашивает: видел ли ты его последнюю подачу? Да. (Симор: Введение.)

И я так ясно понял: довольно выдрочиваться, простоты и душевности не хватает сейчас миру, и только в них – простоту и душевность – все упирается (пишет он).

Да, но рассказ мой превращается в букет цитат и скобок. И пусть оно так и будет.

При этом речь идет не о каких-то цветистых украшениях текста, а скорее о том,

чтобы эти мои кривульки помогли вам понять: насколько я хром и косолап душой и телом, когда пишу эти строки (Симор: Введение).

Только что прогремел гром (он пишет в другом письме) – завтра, может, будет дождь, первый после лета, на улице темно, но не страшно, и голоса на иврите.

Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.
По 1-му Македонскому переулку
Парень идет молодой.

Он идет со своей подружкой,
Она хороша собой.
У нее голубые глаза
И короткая серая юбка.

Тучи опускаются ниже,
Но тут
1-й Македонский переулок кончается
И некуда дальше идти.

Улыбка то появлялась, то исчезала на его лице, без всякой связи с улыбками всех окружающих, а то и наперекор им. И его улыбки даже в нашей нестандартной семье всегда казались неожиданными... Мне кажется, что светская улыбка ему вообще была несвойственна, и все же, говоря точно (хотя, может быть, несколько пристрастно), любое выражение его лица казалось вполне естественным (Симор: Введение).

Они поворачивают обратно.
Они всегда гуляют вдвоем,
Потому что с детства смотрят
Одинаковые сны.

Они размахивают руками,
Но тут
1-й Македонский переулок кончается
И некуда дальше идти.

Люди, которые его совсем не знали или знали мало, может быть, только как участника или бывшего вундеркинда радиопрограммы, иногда тоже терялись от неподобающего выражения, вернее – отсутствия подобающего выражения, вернее – отсутствия подобающего выражения на его лице, но, по-моему, только на минуту-другую.

Парень молодой и его подружка
Поворачивают обратно.
В воздухе нестерпимо
Пахнет грозой.

Они идут, не считая шагов,
Им невдомек, что это ловушка –
Из 1-го Македонского переулка
Обратно не возвращаются.

А причина тут была самая простая: полное отсутствие у него всякого притворства

(там же).

Томик Мандельштама услужливо раскрывается на одном из его любимых стихотворений:

С миром державным я был лишь ребячески связан.
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

С важностью глупой, накупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Ума не хватает, и это печально. Не потому (пишет он), что я не могу быть своим среди них, я этого и не хотел бы, но это такое беспокойное чувство – осознавать себя подростком во взрослом теле.

Учительница (в другом письме), молодая оболтус (ница?) из Австралии, спрашивает меня: «Леонид, какое самое большое упущение было в вашей жизни?» Я честно подумал и захохотал. Ну, такая реакция вышла, не знаю почему. Она, по-моему, испугалась, и я на ее месте тоже бы испугался. Трудно быть идиотом среди чужих.

Далека ты, путь-дорога.
Выйди, милая моя!
Мы простимся с тобой у порога,
И, быть может, навсегда.

А раз творчество – твоя религия, знаешь, что тебя спросят на том свете? Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут. Тебя не спросят, работал ли ты перед самой смертью над прекрасной задушевной вещью. Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная или смешная, опубликована или нет. Тебя не спросят, был ли ты еще в полной форме, когда работал или уже начал сдавать. Тебя даже не спросят, была ли эта вещь такой значительной для тебя, что ты продолжил бы работу над ней, даже зная, что умрешь, как только ее кончишь. А тебе задали бы только два вопроса:

Но тут мы должны вспомнить, что пишем все-таки оперу, и наш единственный читатель истомился уже, поди, в ожидании анкетных данных. Вот что мы имеем для него:

Шваб Леонид Гилерович. Родился в 1961 году, 24 ноября. В этот день умер Фрэд Меркюри, а родились Тулуз-Лотрек, Шнитке, Спиноза и ваш покорный слуга.

Где-то, кажется, в Москве, есть у него еще брат:

И обернувшись худым одеялом, как учил проводник,
Я слышал было шаги развеселого сна,
Но являлся мой старший брат и песен не заводил,
И простуженно кашлял, и исчезал, как луна.

Мать, кажется, звали Бесси.

А отца... Отца, по-моему, просто Лес.

Ты ходишь по утрам, в лес (пишет он), и я завидую тебе смертно, у меня давно желание забрести глубоко в дремучий лес, свернуться в клубок и оторваться, отплакаться с соплями и успокоиться наконец.

Под Штуттгартом

Есть один бранденбургский лес.
Любил я в детстве
Продираться сквозь его буреломы
И все думал, бывало,
– Ничего! ничего! –
Так оно и выходило, к счастью.
Бранденбургский лесничий был моим другом,
Он погиб потом, вывихнул ногу,
Но я-то жив, и я помню
Этого от природы порядочного человека –
Как пили чай, помню,
Как смеялись и разговаривали,
Как хлопали друг друга по плечу –
И снова я уходил в буреломы.
Под Штуттгартом это было, в детстве.

Обязательно съезди в Штуттгарт (сказал он, узнав, что я еду в Германию).
Штуттгарт – столица Швабии.

Цезарь в «Записках о Галльской войне» упоминает свебов – отличались, мол,
пронзительным взглядом – не оттуда ли все эти Фридрихи:

Конечно, Фридрих жив, его судьба святая,
Он утомлен и голоден и мерзнет на морозе,
Открытым воздухом, как аист, пролетая,
Поет народны песни азбукою Морзе.

и Фердинанды:

Фердинанд ходил по ячменному полю,
Сшибал мечом колоски,
И напевал свои мужественные песни.

Невдалеке работали крестьяне,
И когда Фердинанд умолкал,
Самые смелые кричали:
«Пой, Фердинанд, еще!»
И он терялся и кашлял.

Постойте; все-таки, – спросит дотошный читатель, он же вдумчивый швабовец, –
где же он родился, этот ваш Леонид, или как его? И кто он по пункту пятому?

– Вы лечились от кашля, солдат? – спросил лейтенант, когда я перестал кашлять.
(«Выше стропила, плотники»).

Да, действительно, мы опять отклонились. Родился в Бобруйске. Леса под
Штуттгартом нет, тем более бранденбургского. Лес, кажется, из-под Оренбурга. Бобруйск,
Оренбург: места все литературные. Белогорская крепость находилась в сорока верстах от
Оренбурга. (А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»). В Бобруйск ездил? (В.В. Сорокин,
«Дорожное происшествие»).

А в пункте пятом боюсь ошибиться: между евреями и немцами много общего
(утверждал Кафка – а он знал, что говорит: у него все любимые и сестры погибли в
концлагерях).

Помню, когда он впервые приехал ко мне, с каким-то письмом протеста, в составе
делегации, он был угрюм и был похож, в самом деле, на долговязого пленного немца. И

первая шваб (ка?), с которой я познакомился, тоже была долговязая, нескладная и невпопад ухмыляющаяся. Потом разговорились – на вокзале, за чашкой кофе – оказалось, она любит Тарковского и писала диплом по Лему – и я смотрел на нее и думал, что же у них еще общего со Швабом, кроме плена – разве что, думаю, черные волосы?

И еще они там, на юге Германии, вместо «Добрый день» говорят «Грюс Гот», т.е. «Привет Бог».

Да, вот как они разговаривают:

Бесси. – Можно мне войти на минуточку?

Зуи. – Господи, мама, да я же в ванне сижу!

Бесси. – Боже мой, я на минуточку, прошу тебя. Задержи занавеску.

Леня. – Господи, если хотя бы чуть-чуть понимать смысл того, что сам делаешь.

Зуи. – Господи Иисусе Христе. Мне чудится, что я лежу мертвая под дождем!

Леня. – Господи, писал-то один и тот же человек, за что же так?

Зуи. – Хорошо, Господи. Если ужходишь, то входи.

Леня. – Боже мой, разве в этом дело, пожалуйста, будь здоров.

Мне кажется, это ни к чему. Когда он, твой герой, или Лес, или еще кто, Богом клянется, поминает имя Божье всуе, так ведь это тоже что-то вроде наивного общения с Творцом, молитва, только в очень примитивной форме. (Симор: Введение.)

Но тут у меня снова начался кашель и, как ни странно, опять без всякого притворства. («Выше стропила, плотники»).

А теперь я понял: самое главное, что у них общего – это вокзал.

«...вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез? Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июньского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты писал сочинения? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля?» и т.д.

Работал на заводе.

Я превратился в слесаря, много чему научился (пишет в письме)... и еще вспоминаю, как уходил последний раз с проходной Оренбургского завода гидравлических прессов и думал – все, больше никогда не буду на заводе, не буду среди железа...

Писал сочинения.

Да, было что-то про КПСС, резко-негативное, по словам Т. Филипповой, которая в 88-м не решилась напечатать это в своей газете и теперь все не избавится от чувства вины. «Но кто-нибудь казнит себя за ту, с позволения сказать, квартиру, в которой жила эта семья? – спрашивала она потом. – Мой маленький сын, запросившись у них в гостях в туалет, был поражен увиденным. А потом, когда он спросил, почему такие хорошие люди так плохо живут, пришла очередь растеряться мне».

Это, наверное, на Пионерской. Тот дом знаменит еще тем, что, уезжая из него, Шваб бросил свой стихотворный архив в стоявший подле мусорный бак.

А кто казнит? Кто должен казнить? Симор как-то сказал, что всю жизнь мы только то и делаем, что переходим с одного маленького участка Святой Земли на другой.

А он всегда завидовал бедуинам. Бедуины живут в шатрах и кочуют с овцами по настоящему (пишет с завистью). А по вечерам у них в шатрах телевизоры, бывало, задержишься на работе, едешь уже в темноте, и мелькают голубые огоньки – то бедуины у телевизоров сидят. И еще писал: поскольку я, мол, играю пан или пропал, то мы увидимся

и погуляем по лесу – или я уйду к бедуинам, их здесь много.

...Служил в армии. В роковом 41-м, когда пришла окончательная усталость от конвульсий и позирования, встал на учет в военкомате – и ведь если бы там (удивляется) говорили по-русски, то как будто и не уезжал никуда, настолько все то же самое – и в 44-м (5744-м, по-ихнему) поступил в солдаты. На субботу, как правило, отпускают домой, с оружием и полным магазином (писал тогда). И теперь я знаю, что такое чувствовать себя идиотом – это с сумкой и М-16 ехать в автобусе и идти по улице.

Черные силы мнутя,
Ветер нам дуст в лицо.
За счастье народное бьются
Отряды рабочих бойцов.

Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая, встречай!
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай...

Как будто и не уезжал никуда.

В доме, где мы его провожали, он оставил удостоверение общества рыболовов. Хозяева до сих пор ездят на озеро, где он ловил щуку (как будто одну и ту же) и берут лодку по его удостоверению. «А сам где?» – «Да тут где-то ходит...»

А между тем его, Фердинанда,
Тревожили гнетущие мысли:
Зачем он ходит по ячменному полю
В боевом панцире, с мечом в руках?

То ли оставлен в засаде, но кем?
То ли послан в разведку – куда?
Трудно вспомнить, и пел Фердинанд
Свои выразительные мужественные песни.

И когда он умер, похоронили его
На краю ячменного поля,
Где он провел долгие годы
В недоумении и обиде.

– Я вижу, вы смотрите на мои ноги, – сказал он, когда лифт подымался.
– Простите, не расслышала, – сказала женщина.
– Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.
– Простите, но я смотрела на пол! – сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта.
– Хотите смотреть мне на ноги, так и говорите, – сказал молодой человек. – Зачем это вечное притворство, черт возьми?
– Выпустите меня, пожалуйста! – торопливо сказала женщина лифтерше. («Хорошо ловится рыбка-бананка».)
Он любил спиннинговать.

А женщинам нравилось гладить его спину (акт нежности, как они объясняли, с похотью ничего общего не имеет) и смотреть – нет, не на ноги – на его носки, которые и впрямь как-то выпирали – лазоревым цветом, золотистой меткой – из окружающей действительности. Мне кажется, в этом есть что-то библейское. Внимание к ногам... Когда

ему говорили об этом, он нагибался и прикрывал носки ладонями.

Но и ладони привлекали их внимание. Ладони широкие, мускул между большим и указательным пальцем очень развит, неожиданно «крепок» (к чему тут кавычки? Да не напрягайся ты, Бога ради!) –

Потому что глядят на меня недобро и косо.
Я знаю, у меня ладони-налимь и лицо абрикоса.

И все же пальцы у него были даже длинней и тоньше, чем у Бесси, так что средние пальцы хотелось измерить сантиметром. (Симор: Введение.)

И ветер сжимает меня, как часовую пружинку,
Нужно стоять на месте, последствия непредсказуемы.

Всякий думающий индивид, с примесью семитской крови в жилах, живет или жил в особо близких, почти интимных взаимоотношениях со своими руками, и хотя потом он годами, буквально или иносказательно, прячет их в карман

Руки в карманы и, главное, удержаться, не крикнуть,
И вообще, как можно меньше обращать на себя внимания.

(боюсь, что иногда он убирает их, как двух назойливых и старых непрезентабельных приятелей или родственников, которых предпочитают не брать с собой в гости), и все-таки он вдруг, в какой-то критический момент, начнет жестиковать и уж в такую минуту может сделать самый неожиданный жест.

Улучить минуту и внутренне учинить покой
И задуматься о спасении души как таковой.

Да и вообще всякая откровенная исповедь попахивает гордостью: пишущий гордится тем, как он здорово преодолел свою гордость.

И запрятать подальше свою единственную гордость –
Никогда я не ел ни налимь, ни абрикосов.

Главное, надо уметь в такой публичной исповеди подслушать именно то, о чем исповедующийся умолчал. (Там же).

Томик Мандельштама услужливо раскрывается:

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейок нежных
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

Но чего я не помню – так это горя.
– Не любуйся моей спиной – как вам это понравится! – сказала она.

Она обиделась, даже чуточку оскорбилась. Она смотрела, как Зуи натягивает носки, и на лице у нее было смешанное выражение оскорбленного достоинства и непреодолимого любопытства, каким смотрит человек, которому приходилось Бог знает сколько лет просматривать после стирки все носки в поисках дыр. (Зуи).

Еще был Дуду.
Бу-Бу, сестра? Нет, Дуду.

Мы верим, ты – оркестр,
Ты Олень Золотые Рога,
Потому что ты последняя доброта
Между нами и нами.

Прощай, Дуду, прощай.
Мы нашли тебя спящим на земле,
И ты жил среди нас,
И ты уходишь от нас.

Три сестры – как их звали? – Элли? Велли? – Элли, Велли и Оттли – погибли в Освенциме.

А Милена? – в Равенсбрюке.

А немерянное число безымянных – в мусорном баке на Пионерской.

Остались еще две – в Америке: Фрэнни и Бу-Бу.

– Девушка идет с белыми волосами! – привстал он, глядя в окно. – У нас нет таких...

В магазине, опершись рукой о прилавок, разглядывал полки – потом спросил:

– У вас сушки хрусткие? – таким нежным голосом, будто она и впрямь ому сестра.

От неслыханности ли этой нежности – да и слова такого она, видно, не знала – зардевшись, девушка ответила тихо: – Хрусткие...

Пакет, стоявший на весах, не удержался и грохнулся в обморок.

Я ведь русский, брательники, русский я!

И куда же меня занесло?

Карта Мира, вселенская, хрусткая,

Нулевое мне кажет число...

(Дм. Вас. Бобышев, американец. Эрбана, шт. Иллинойс).

И было, утром, в руганой России, в моей залитой солнцем кухне с исписанными стенами, – было сказано женским голосом: «Хочу, чтоб так было всегда».

Так вот мы сумасшедшие все, если атмосфера эта считается литературным процессом (пишет он). Напоминает тайное общество любителей некоего вымершего языка, Господи помилуй.

– Одно я только знаю, – сказала Фрэнни. – Если ты поэт, ты создаешь красоту. Понимаешь, поэт должен оставить в нас что-то прекрасное, какой-то след на странице. А те, про кого ты говоришь, ни одной-единственной строчки, никакой к р а с о т ы в тебе не оставляют.

И нет у меня с ними общего языка (пишет он), и я не позволяю себе быть с ними откровенным, ибо нет ничего другого. Время от времени они звонят и приглашают на разные безобразия, а если я выскажусь о них, то не будут звонить, и будет страшнее жить.

– Господи Боже мой! Может быть, это просто какие-то очень увлекательные синтаксические фокусы, испражнения какие-то – прости за выражение (говорит она же). И все, что они делают, все это до того – не знаю, как сказать – не то чтобы неправильно, или даже скверно, или глупо – вовсе нет. Но все до того мелко, бессмысленно и так уныло.

Вроде бы все хорошо кончилось (пишет он), но пока я вас не увижу живьем, все

равно не поверю, что мир цел и мы были вместе. Мне недавно снился маленький Ленин возле Дома офицеров, его нужно оставить, большого нужно убрать, а маленького пусть будет. Пожалуйста.

А я вот думаю – кто это, не родственни(ца?) ли Инессе Арманд эт(а?) сам (ая?) П. Арманд – автор музыки и слов у этой песни? –

Жаркою страстью пылаю,
Сердцу тревожно в груди.
Кто ты? Тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди.

Приходи же, друг мой милый!
Поцелуй меня в уста.
И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда.

Все вместе:

И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда...

Я перестал ходить в театр по тысяче причин, но главным образом из-за того, что я до черта обижался, когда приходилось уходить из театра только потому, что какой-нибудь драматург вдруг опускал свой идиотский занавес (Симор: Введение).

З а н а в е с

РАССКАЗЫ

Дядя Саша

Дядя Саша надел белую нейлоновую сорочку, широкий галстук и черный костюм, выпил в своей большой темной комнате два стакана водки, вышел во двор и уселся за стол под березкой. Жмурясь от яркого солнца, он глядел на проходивших мимо жильцов, здоровался и думал, почему так получается, что, когда у него день рождения, обязательно приснятся перед этим похороны жены, как гроб тащили в окно, потому что в дверь он не пролез; а когда День Победы – как назло – видится во сне убитая девка, или перееханный танком поляк, или еще какой-нибудь кошмар.

– Чего, Сан Ваньч, сыграем, что ли? – подавая руку, подсел рядом сосед Колька и опрокинул на стол кости домино.

– Ну какая игра вдвоем, – сказал дядя Саша и отвернулся, мигая красными воспаленными глазами. Дядя Саша был сварщик. Из окна на него глядела пенсионерка Раиса Николаевна и что-то говорила стоявшей рядом Нине Борисовне Зиберовой из третьей квартиры, а та вежливо кивала головой, собираясь уходить. Дядя Саша отвернулся от них.

Через некоторое время во двор, пошатываясь, вышел Зиберов.

– Сан Ваньч, – пробасил он, оттянув подтяжки и шлепнув ими свой живот. – Сан Ваньч, пойдем к нам, посидим, выпьем, закусим. А?

– А чего... Пойдем! – сказал дядя Саша.

Войдя к Зиберовым, он сунулся было снимать ботинки, потому что кругом были ковры, и всё блестело.

– Сан Ваньч, ты это брось. – сказал Зиберов.

– Подожди, Петрович, – сказал дядя Саша. – У вас тут гости, а я пьяный, Петрович, пьяный я, вот чего.

– Сан Ваньч, – качаясь, сказал Зиберов. – Рожа у тебя красная – незаметно, и тут все пьяные.

– Не, Петрович, ты чего, подожди...

Подталкивая упирившегося дядю Сашу, Зиберов провел его в комнату и усадил за стол рядом с собой.

– Ти-ха! – сказал он. Разговоры, смех и позвякивания вилок прекратились. – Предлагаю тост, – Зиберов поднял бокал. – Вот как у нас праздник Победы – выпьем за танкиста Александра Иваныча. Сан Ваньч – душа человек, проехал на своем танке всю Европу. И как у нас День Победы – выпьем за Сан Ваньча.

– Да ладно, Петрович, садись, – сказал дядя Саша. Ему было неловко, но и приятно, потому что гости одобрительно загудели и полезли с ним чокаться.

– Ну, ребята... – говорил он, поднимаясь и садясь и протягивая всем свой бокал.

Наконец, все стали пить, и он опрокинул содержимое бокала в рот, но тут же, смутившись, выплюнул его обратно.

– Петрович, – толкнул он Зиберова, который, подняв локти, ел салат.

Зиберов, жуя, обернулся к нему.

– Петрович, у тебя покрепче нету чего? Петрович?

– Имеем! – Зиберов выбрал из батареи стоявших посреди стола бутылок одну, с черной наклейкой и нарисованным на ней стрелцом.

– Подходит? – сказал он, подняв большой палец. Потом, скovyрнув головку, налил дяде Саше и себе. Они чокнулись и выпили. Повеселев, дядя Саша положил локти на стол и стал слушать, о чем говорят гости.

– Дядя Саша, а как Света живет? – вежливо спросила хозяйка.

– Живет, чего ей. Светка живет.

– Сан Ваньч, у тебя Светка мировая девка, – сказал Зиберов, жуя.

– Чего-о? – усмехнулся дядя Саша. – Чего Светка? Петрович, вот у тебя два мужика, а чего Светка... Вовка-то в каком?

– Вовка кончил уже. В Орле работает.

– Ну, Петрович, Вовка у тебя молодец парень, всегда за руку здоровается.

– Чего?

– Петрович, Вовку ты держи, держи Вовку, молодец парень.

Вслушавшись опять в разговор за столом, дядя Саша понял, что речь идет о развешанных на стенах иконах.

– Слушай, Петрович, уж не в Бога ли веришь? – спросил он.

– Сан Ваньч, – сказал Зиберов. – Ты над этим делом не смейся. Ты в этом деле ничего не понимаешь. Это не нами придумано и тыщи лет существует... Не, Сан Ваньч, и ты это дело не трогай. Нина, ты у Беляевых попугая видела? Беляев попугая купил.

– Послушай, товарищ, – сказал дядя Саша мужчине в очках с золотой оправой.

– Что вы? – наклонился тот.

– Слушай, товарищ, не знаю имя-отчество.

– Юлиан Иваныч.

– Слушай, Юлиан Иваныч, не пойму: иконы вешают – мода, что ли, такая?

– Ну, видите ли Александр Иваныч, – сказал Юлиан Иваныч. – Сейчас всё больше понимают, что Иисус был личность величайшая. Ну... Можно, конечно, и Гомера на стенку повесить, но, знаете, у меня дети Гомера боятся почему-то, аж до слез доходит. А Иисуса увидят – личики у самих светлеют.

– А вот я на карточках только тех людей представляю, которые смеются, а которые нет – для меня будто мертвые. Вот Сима, Сима, жена моя, на двух карточках живая, а на трех мертвая. Понимаешь, нет?

– Ну, – пожал плечами мужчина и поправил очки. – А вы кушайте, Александр Иванович, почему вы не кушаете. Вот, например, удивительная вещь.

Дядя Саша посмотрел в блюдо. Там в розовом компоте плавали белые котлеты.

– Не, – сказал он.

– Ну, – пожал плечами Юлиан Иванович.

– Сан Ваньч, – сказал Зиберов, продев свою руку под локоть дяди Саши. – Ты во всякие разговоры не суйся, ты тут человек простой и ни хрена не понимаешь.

Дядя Саша молча смотрел на розовый компот.

– Давай лучше споем, – сказал Зиберов и отвел в сторону вилку. – Э-эх, дороги!.. Вот, Сан Ваньч, веришь ли, самая любимая песня моя.

Дядя Саша молча глядел в тарелку.

– Не болтай, Петрович, – сказал дядя Саша.

– Чего?

– Я говорю, болтаешь много, Петрович. Не болтай лишку. Ты же не был на войне, Петрович. Какого хрена слезу льешь?

– Сашка-а...

– Я говорю, ты на войне-то не был. Чего поёшь?.. Не был на войне-то!

– Сашка, – сжав зубы, сказал Зиберов. – У меня на войне отец погиб!

– Ну отец... Отцы все раньше сынов помирают.

– Сашка! – рот Зиберова скривился, и он вдруг трахнул кулаком по столу. – Ты мне отца не трожь!

– Говорила я, не надо бы его сюда, – шептала на ухо Зиберову его соседка по столу.

– Подожди, Петрович, не реви, а то ведь я тоже зареву.

– Сашка-а! – обняв дядю Сашу, Зиберов ткнулся в его спину лбом и заплакал, кусая губы.

– Подожди, Петрович, а то ведь я зареву, зареву ведь я тоже, – говорил дядя Саша, изо всех сил сжимая вилку.

– Не надо, дядя Саша, кончайте вы о войне, ну ее, – сказала хозяйка, глядя дядю Сашу по плечу.

– Ни-на, – сказал он, моргая воспаленными глазами.

– Правильно, давайте о чем-нибудь другом, – сказал кто-то.

– Нина, давил ведь я людей, давил людей. Нина, понимаешь, нет, людей давил!

– Ладно, дядя Саша, не вспоминай про это, тяжело.

– Да какие же это люди были, – сказал кто-то.

– Фашистов не жалко, поляка жалко, Нина, жалко поляка. Нина, своими руками задавил, Нина! – говорил дядя Саша, моргая.

– Ну танк ведь не разбирает.

– Не хотел ведь я, Нина, задавил поляка, не хотел. – Дядя Саша, выронив вилку, вытер слезу с дергающегося лица.

– Ну, всё, всё, всё, мужики, кончайте про войну, сегодня День Победы – праздник.

– Не хотел, – сказал дядя Саша, беря стакан. – Нина, понимаешь, нет, жалко поляка, жалко!

– И только тверже выходила из огня-а-а-а! – затянула какая-то голосистая баба.

– Во, – сказал дядя Саша, – Тве-ерже!

Прильнув щекой к его спине, шмыгал носом Зиберов.

1981

<Без названия>

Бабушка была толстая и страшная, она хрипела и ругалась, и один раз у нее полилось что-то изо рта на подушку, но дальше я не видел, потому что тетя Ия потащила меня на руках.

А ящик был белый и хороший, от него пахло яблоками, потому что, когда папка вытаскивал гвозди из крышки, там, внутри, оказались большие красные яблоки, завернутые в газету, как елочные игрушки, и я кричал от удивления.

Папка сказал, что бабушку положили в ящик и закопали в землю, и я, ухватив папкину колючую щеку, посмотрел вниз на землю и мостки.

А дядя Павлик сидел в темной комнате и заводил пластинку, у которой на одной стороне было «Ой ты, рожь, хорошо поешь», а на другой «Мама, милая мама», и пел вместе с радиолой громко и невпопад, и там стоял дым от папирос, от которого болит голова, и дядя Павлик посадил меня на колени и долго молчал, а потом спросил, где бабушка, и я сказал, что папка заколотил бабушку в ящик и закопал в землю, и тут дядя Павлик заплакал, и я испугался и побежал к папке, и сказал ему, чтоб он откопал бабушку, а то дядя Павлик плачет. А папка сказал, что дядя Павлик пьяный и, взяв меня на руки, стал колотить меня своей щекой, и я стал смеяться, а на другой день увидел под кроватью белый ящик, и от него все так же пахло яблоками, и я, обрадовавшись, побежал искать дядю Павлика, но дядя Павлик уже уехал.

4.81

<Без названия>

Тропинка, выйдя из лесного сумрака на залитую солнцем поляну, потерялась в зарослях травы; я нагнулся, чтоб нашарить ее, и мою ладонь пощекотали бледно-зеленые листья, вялые, как теплая вода, и я увидел, как муравей стоит и смотрит на меня исподлобья, и лег и перевернулся на спину, ощутив, будто проваливаюсь со всей землей в воздушную яму – так стало щекотно и все разбежалось перед глазами, а он, помедлив, стал карабкаться мне на грудь, цепляясь за куртку, а потом полез на подбородок, пересек губы, и у меня дернулась щека, и я хохотнул через нос и зажмурился, отчего небо полилось и лопнуло, а потом почувствовал, что он сидит и смотрит в мой глаз, и выпучил глаз, подняв бровь.

Муравей смотрел в мой огромный глаз, и глаз казался ему голубым, и в нем, как в озере, отражалось небо с облаками и лес.

– Чего уставился, – сказал я, глядя его по голове. – Ты хочешь увидеть эту постную глупую рожу, или старика, который кашляет и харкается в раковину, а может, подай тебе табурет, которым бьют по головам, чтоб все разлетелось в мелкую крошку, чтоб весь мир разлетелся на атомы и молекулы, ты, кто сбежал из муравейника, что ж ты дрожишь, увидев первую живую тварь?

4.81